

**К**акое-то время она не была уверена, что ее муж — это ее муж, так в полудреме мы не всегда можем понять, снится нам что-то или происходит наяву, управляем мы своими мыслями или, утомившись, теряем их нить. Иногда она верила, что да, это ее муж, иногда не верила, а иногда решала вообще ничему не верить и просто продолжать жить с ним, то есть с мужчиной, который похож на ее мужа, хотя и выглядит старше. Впрочем, она и сама стала старше за время его отсутствия, а ведь замуж вышла совсем молодой.

Именно такие периоды бывали самыми лучшими, и спокойными, и отрадными, и безмятежными, но они никогда не растягивались надолго, поскольку нелегко вот так взять и отмахнуться от столь мучительного вопроса и столь мучительного сомнения. Правда, сомнение удавалось отбросить, скажем, на несколько недель, чтобы бездумно погрузиться в повседневную рутину, которой занято большинство обитателей земли — им вполне достаточно видеть, как зарождается день и как он, описывая дугу, клонится к своему завершению. И люди воображают, будто неизбежно должно случиться некое завершение, некая пауза, должна появиться некая линия или граница, отмечающая момент засыпания, хотя в действительности это не так: время продолжает упорно двигаться вперед, изменяя не только наш облик, но и на наше сознание; и ему, то есть времени, нет дела до того, спим мы или страдаем бессонницей, прислушиваясь к каждому шороху, бежит сон от наших глаз или они закрываются сами собой против нашей

воли, как у солдата-новобранца, заступившего на ночное дежурство, которое по-испански невесть почему принято называть “глюком” — наверное, потому что потом солдат вспоминает минувшую ночь как в тумане, будто это вовсе не он бодрствовал, пока весь мир спал, если, конечно, и сам не заснул и не попал за это под арест или даже под расстрел, случись такое дело в военное время. Вздремнул ненароком — и за это придется умереть, то есть заснуть навсегда. Любая мелочь порой таит в себе смертельную опасность.

А вот в те периоды, когда она верила, что ее муж — это ее муж, она была не так спокойна и по утрам вставала без малейшего желания окунуться в дневные хлопоты, потому что чувствовала себя заложницей того, чего так долго ждала и что наконец получила, то есть того, чего ждать больше не нужно: но тот, кто привык жить ожиданием, никогда не свыкнется с его завершением — ему вроде как перекрывают воздух. В те периоды, когда она не верила, что ее муж — это ее муж, сон у нее был тревожным, она мучилась угрызениями совести и не хотела просыпаться, чтобы опять и опять не смотреть на любимого человека с подозрением, казня себя за это пустыми упреками. Потому что ее огорчала собственная черствость, или даже низость. А вот в те периоды, когда она решала ничему больше не верить — и когда у нее получалось вообще ничему не верить, — изгнанные сомнения, наоборот, начинали казаться важным стимулом, как и отложенные на потом колебания, потому что эти колебания рано или поздно непременно должны были вернуться. Она обнаружила, что абсолютная уверенность во всем делает жизнь скучной, обрекает на одномерное существование или на то, что реальное и воображаемое срастаются воедино, хотя воображение свою работу все равно полностью не прекращает. Но ведь и вечные подозрения тоже изматывают душу: ты постоянно наблюдаешь за собой и за другими, но в первую очередь за другим, за ним, за самым близким тебе человеком, и сравниваешь свои наблюдения с воспоминаниями, которые никогда не бывают

надежными. Нам не дано достоверно воспроизвести в памяти то, что уже исчезло из поля нашего зрения, даже то, что случилось совсем недавно, даже если в воздухе еще витает след того, кто только что с тобой простился, — его запах или его злые слова. Достаточно ему скрыться за дверью и пропасть из виду, чтобы знакомый образ начал блекнуть, потерял четкость или вообще растаял; то же самое происходит с нашим слухом и уж тем более с осязанием. Но можно ли тогда в точности вспомнить случившееся давным-давно? Можно ли непогрешимо восстановить в памяти облик мужа, каким он был пятнадцать или двадцать лет назад, мужа, который ложился в кровать к спящей жене и пользовался ее телом? Такие воспоминания тоже рассеиваются и мутнеют, совсем как память солдата о ночном дежурстве. Пожалуй, они рассеиваются даже быстрее любых других.

**Е**е мужа, который был наполовину испанцем, наполовину англичанином, звали Том или Томас Невинсон, и раньше он не был таким угрюмым. Не распространял вокруг агрессивное раздражение, застарелую досаду, которую разносил по всему дому и которую нельзя было не заметить. Вместе с ним в гостиной, спальне, на кухне появлялось непонятное излучение. Иногда казалось, будто зависшая у него над головой грозовая туча следовала за ним повсюду, никогда не рассеиваясь. Наверное, поэтому он был немногословен и редко отвечал на вопросы, особенно на вопросы для него неудобные, хотя и на вполне безобидные тоже не отвечал. От первых он легко отделялся, ссылаясь на то, что ему о многом запрещено говорить, и пользовался случаем, чтобы напомнить своей жене Берте Исле: такого разрешения он вообще никогда не получит, даже десятилетия спустя и даже на смертном одре. Никогда он не сможет рассказать ей о своих нынешних поездках, о своих делах или заданиях, о той жизни, которую ведет, разлучаясь с Бертой. Она должна принять это как должное, и Берта твердо знала, что есть некая зона в жизни ее мужа, вернее, некая часть его личности, которая неизменно будет оставаться в тени, неизменно будет недоступна как для ее взора, так и для слуха, и неизменно будут существовать запретные темы, словно Берте приходилось смотреть на все это из-под приспущенных век, или она была близорукой, или вообще слепой, а поэтому многое можно было лишь предполагать или воображать.

— Кроме того, лучше тебе совсем ничего не знать, — сказал ей однажды Томас, поскольку вынужденная скрытность не мешала ему время от времени пускаться в пространные рассуждения, правда вполне отвлеченные, без упоминания конкретных людей и мест. — Знаешь, часто эти истории бывают неприятными, довольно невеселыми, а финалы — неизбежно скверными как для одной стороны, так и для другой; иногда в них бывает что-то занятное, но они почти всегда грязные или, хуже того, оставляют в душе мучительный след. И меня потом нередко терзает совесть. К счастью, это быстро проходит. К счастью, я забываю о том, что сделал, и тут помогает непрменная маска, как будто это вовсе не ты участвуешь в таких операциях или ты всего лишь актер, исполняющий очередную роль. Ведь актер снова становится самим собой после съемок или спектакля — а то и другое рано или поздно заканчивается, оставляя по себе лишь смутное воспоминание, как что-то увиденное во сне и далекое от реальности, во всяком случае недостоверное. Но главное, ни в коей мере не свойственное лично тебе, и ты говоришь: “Нет, я не мог так поступить, память что-то путает, там был другой я, это ошибка”. Или ты как сомнамбула не сознавал смысла своих действий и шагов.

Берта Исла знала, что живет отчасти с незнакомым человеком. Тот, кому запрещено давать объяснения по поводу целых месяцев своей жизни, в конце концов внушает себе, будто вполне может не объяснять и какие-то другие вещи. Но Берта считала Тома — хотя тоже лишь отчасти — мужчиной всей своей жизни, то есть чем-то само собой разумеющимся, как, скажем, воздух. А к воздуху мало кто постоянно и дотошно присматривается.

Они были знакомы чуть ли не с детства, но тогда Томас Невинсон был веселым и беспечным парнем — никаких тайн и туманов. Сначала он учился в Британской школе на улице Мартинеса Кампоса, рядом с музеем Сорольи, но она выпихивала своих учеников в тринадцать-четырнадцать лет. Послед-

ние классы — пятый, шестой и подготовительный — нужно было доучиваться в другом месте, и часто этим другим местом становилась школа Берты под названием “Студия”. В пользу этой школы говорило то, что она была светской и что мальчики и девочки там обучались совместно, хотя это не было принято в Испании времен франкизма, к тому же школа находилась в одном районе с Британской — на соседней улице Микеланджело.

“Новенькие” мальчишки, если не были совсем уж никому дышными, быстро находили общий язык с девочками — как раз потому, что привлекали их своей новизной, и Берта почти сразу же влюбилась в юного Невинсона — слепо и наивно. В такой любви много простодушия и легкомыслия, но также эстетства и самоуверенности (юное существо смотрит вокруг и говорит: “Вот этот мне подходит!”); такая любовь поневоле начинается робко, со случайных взглядов, улыбок и незатейливых разговоров — под ними прячут чувство, которое тем не менее быстро пускает корни и на первых порах кажется вечным. Разумеется, влюбленность эта выдуманная, ничем не проверенная, скопированная из романов и фильмов, похожая на воображаемую проекцию с единственным и статичным образом: девушка видит себя женой своего избранника, а он себя — женатым на ней, и эта картинка не имеет ни продолжения, ни вариантов, ни истории, она только такая, какая есть; ни один из двоих не способен заглянуть чуть дальше, ведь зрелость пока еще представляется им чем-то недостижимо далеким и никак с ними не связанным; они видят только кульминацию, поскольку порой именно кульминация и является целью — для самых догадливых и настойчивых. В те времена еще было принято, чтобы женщина, выходя замуж, добавляла к своей фамилии частицу “де” перед фамилией мужа, и на выбор Берты повлияли также зрительный и звуковой образ будущей — из далекого будущего — фамилии: куда интересней стать Бертой Ислой де Невинсон, что наведало мысли о приклю-

чениях или экзотических краях (в один прекрасный день у нее появится визитная карточка, где будет именно так и написано), чем, например, Бертой Ислой де Суарес, если вспомнить фамилию одноклассника, который нравился ей до появления Тома.

Правда, в их классе не одна Берта так пылко и откровенно поглядывала на него, не одна Берта вздыхала по нему. На самом деле переход Тома в “Студию” произвел в этом мире настоящий переполох, который не утихал целых два триместра, пока не определилась бесспорная победительница. Томас Невинсон был хорош собой, ростом чуть выше среднего, рыжеватые волосы он зачесывал назад по старой моде (как летчики или машинисты поездов в сороковые годы, если стригся покороче, или как музыкант, если отпускал волосы подлиннее; но он никогда не нарушал образа, которому решал следовать; иногда его прическа напоминала ту, что носил актер второго плана Дэн Дьюриа, или ту, что была у знаменитого Жерара Филипа, — кому любопытно, может проверить свою зрительную память); а еще Тома отличала основательность, свойственная только людям, безразличным к веяниям моды и потому свободным от комплексов, которые у подростков годам к пятнадцати обретают самые разные формы, и мало кому удается проскочить этот возраст без травм. Казалось, Том ничем не был связан со своим временем или пролетал над ним, не придавая значения всякого рода рискованным обстоятельствам, хотя к таковым, если вдуматься, следует в первую очередь отнести и день, когда человек рождается, и даже век. На самом деле черты у Тома были не более чем приятными, и никто бы не назвал его образцом юношеской красоты; мало того, в них уже присутствовал намек на некую пресность, которая через пару десятилетий непременно подчинит себе все остальное. Пока от такого впечатления спасали пухлые и четко очерченные губы (по ним хотелось провести пальцем и потрогать — даже больше, чем поцеловать) и взгляд

серых глаз — то тусклый, то сияющий и возбужденный, в зависимости от игры света или от назревавшей вспышки гнева, к тому же пытливые и живые глаза были расставлены шире обычного и редко оставались спокойными, что несколько нарушало общее впечатление от его внешности. В глазах Тома проскальзывало что-то не совсем понятное, вернее, угадывались какие-то вероятные в будущем яркие особенности, которые пока затаились и ожидали своего часа, чтобы потом пробудиться, созрев и налившись силой. Нос — довольно широкий и вроде как не долепленный до конца — или по крайней мере не совсем правильной формы. Мощный, почти квадратный подбородок чуть выступал вперед и придавал Тому решительный вид. Все в целом делало его привлекательным — или обаятельным, — но главным был не внешний облик, а ироничный и легкий нрав, склонность к безобидным шуткам и беспечное отношение к тому, что происходило рядом, равно как и к тому, что варилось у него в голове, о чем не всегда имел четкое представление даже он сам, не говоря уж об окружающих. Невинсон избегал выяснять отношения с самим собой и редко говорил с другими о своей персоне или делился своими взглядами, как будто такие разговоры казались ему детской забавой и пустой тратой времени. Он был полной противоположностью тем молодым людям, которым не терпится все выплеснуть наружу, которые анализируют, наблюдают, стараются разгадать себя и спешат поскорее определить, к какой человеческой категории они принадлежат, не понимая, что это не имеет никакого смысла, пока ты окончательно не сформировался, поскольку до того времени серьезные решения принимаются, а поступки совершаются на авось и вслепую, и когда ты себя наконец узнаешь, если узнаешь, будет уже поздно что-то исправлять, будет поздно меняться. Томас Невинсон не очень старался раскрыться перед другими и уж тем более избегал копаться в себе, считая это признаком нарциссизма. Похоже, тут сыграла свою роль английская половина его

крови, но в любом случае никто доподлинно не знал, какой он на самом деле. За внешними дружелюбием, открытостью и общительностью таилась зона непроницаемости и скрытности. И главным признаком непроницаемости было как раз то, что окружающие не замечали и почти не догадывались о существовании такой зоны.